

ЖАТВА

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

ЖАТВА

<https://litres.ru/74125134>

SelfPub; 2026

Аннотация

Зара Аль-Фарид одиннадцать лет работает дирижёром экспериментального реактора «Прометей» в чилийской пустыне Атакама. Её ремесло — уговаривать квантовую пустоту отдавать энергию добровольно. Однажды, погружаясь глубже обычного, она чувствует: её сигнал заметили. По ту сторону мембраны их ждали — древний голод, питающийся не атомами, а самим порядком вещей. Африканский центр проекта гаснет за минуты, не взрывом, а холодным оцепенением. Восток погружается в тишину, на запад надвигается ночь без рассвета. У человечества остаются часы, а у Зары — слепая девятилетняя дочь и невозможный выбор: молчание или последняя яркая вспышка. Поэтический рассказ о матери, любви и цене украденного огня.

Содержание

Часть первая. Свет, который мы зажгли	4
Часть вторая. Ответ из тьмы	13
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Эдуард Сероусов

ЖАТВА

Часть первая. Свет, который мы зажгли

В кресле дирижёра не было приборов — только Зара Аль-Фарид и тишина, которую она училась слушать одиннадцать лет.

Она прижала два пальца к груди, под ключицей, где кожа помнила холод интерфейса, и нырнула.

Зал «Прометей» исчез. Исчез гул контейнента в зубах, исчез ледяной сквозняк климат-контроля и привкус остывшего кофе. Осталась мембрана — то, что в документах называли квантовым вакуумом, а Зара про себя звала простыней: ткань, натянутая так туго, что хотелось провести по ней ладонью. Под простыней не было ничего. Из этого ничего «Прометей» и доил энергию — по капле, по напёрстку, осторожно, как воруют молоко из-под спящей кошки.

— Градиент в норме, — сказала она, и собственный голос пришёл к ней издалека. — Поле дышит ровно.

В наушнике откликнулся дежурный инженер, но слова прошли мимо. В погружении речь становилась лишней.

Здесь Зара чувствовала поле напрямую — как пловец чувствует течение бедром, прежде чем поймёт его головой. Сейчас течение было гладким. Она вела извлечение по самому краю дозволенного, там, где отдача богаче всего и где простыня начинает дрожать от соблазна сорваться в резонанс.

Резонанс был запретным словом. Стоило поле подтолкнуть чуть сильнее — и контейнмент схлопнулся бы в вакуум, в ту самую дыру, из которой брал; «вспышка», как это значилось в красной строке протокола, под двумя подписями и грифом. Вспышка означала прокол простыни насквозь. О ней не говорили вслух, как не говорят о петле в доме повешенного.

Зара держала поле в ладони, не давая ему ни рвануть, ни уснуть. В этом и состояло её ремесло — не качать энергию, а уговаривать ничто отдавать её добровольно. Тысяча инженеров умела открыть кран. Дирижёром звали ту, что слышала, когда кран собирается захлебнуться.

Тишина была ровной. Слишком ровной, подумала она потом, гораздо позже, когда вспоминала этот час и не могла простить себе, что не остановилась. Но тогда ровность означала только одно: всё идёт правильно.

— Зара. — Голос в наушнике стал ближе, настойчивей.
— Зара, ты под полем три часа. Смена кончилась.

Она вынырнула.

Зал собрался обратно — мониторы, синий полумрак, белизна солончака за бронестеклом, такая яркая, что резала

даже сквозь поляризацию. Во рту стоял металл. Под ключицей горело. Зара отняла пальцы от грудины и заметила, что они дрожат, — мелко, как у Восса. Эту дрожь она у себя не любила больше всего.

— Который час, — сказала она. Не вопрос — она уже знала по тому, как заломило поясницу.

— Половина десятого. — Молодой дежурный смотрел виновато, будто это он украл у неё вечер. — Из медкрыла звонили. Дважды.

Зара встала. Колени держали плохо. Где-то в недрах объекта, за тремя переборками и километром кабеля, её девятилетняя дочь снова поужинала одна.



Лейла ждала её не в палате, а в коридоре, у поворота к лифтам, — сидела на полу, спиной к стене, наушники на шее, лицо запрокинуто к потолку, словно слушала там что-то, чего Зара не слышала.

— Ты опоздала на час сорок, — сказала Лейла, не поворачивая головы. — Я считала по обходу. Сестра проходит каждые двадцать минут, я насчитала пять.

— Прости.

— Не извиняйся, ты всегда извиняешься. — Лейла поднялась — рукой нашла стену, оттолкнулась, встала ровно. Движение было выверенным до миллиметра; чужой бы не понял, что девочка почти не видит. — Лучше слушай.

Она сунула матери один наушник. Зара взяла. В коридоре

было пусто, гулко; шаги сестёр, дальний лязг дверей, дыхание вентиляции — всё это Лейла записывала на свой рекордер часами и потом разбирала, как другие дети разбирают картинки.

— Слышишь, какой здесь потолок? — Лейла наклонила голову, и Зара узнала этот наклон — птичий, вслушивающийся. — Высокий, бетонный, без панелей. А вон там, — палец указал в темноту коридора так точно, что у Зары сжалось горло, — там он опускается, и пол меняется. Я вижу стену лучше, чем ты её видишь. Не води меня за руку, мам. Просто слушай.

— Я слушаю, — сказала Зара.

Глаза дочери за тёмными очками были мутны, как стекло, на которое подышали. Год назад Лейла различала лица. Полгода назад — свет и тень. Болезнь шла сверху вниз, гасила сначала зрение, потом, обещали врачи, доберётся до рук, до ног, до дыхания. Экспериментальный протокол держал её на месте — пока держал. И протокол оплачивался, пока Зара служила «Прометею». Об этом в семье тоже не говорили вслух.

— А вот это послушай, — сказала Лейла и переключила что-то на рекордере.

Из наушника пришёл другой звук. Мужской голос, тихий, чуть хриплый, напевал без слов — простой мотив в три ноты вверх и одну вниз, рассеянно, как напевают, думая о другом. Зара замерла.

— Это дядя Илай, — сказала Лейла. — Я записала, когда он ещё приходил. Он всегда так мычит, когда считает. Красивый мотив, правда? Я его теперь везде узнаю.

— Да, — сказала Зара. Голос вышел не её. — Красивый. Илай Восс не приходил уже семь месяцев. Семь месяцев назад его выставили с объекта — тихо, без скандала, с формулировкой «расхождение по научной линии», — и Зара стояла в зале, когда это решали, и не сказала ни слова. Ни одного. Потому что её контракт, и лечение Лейлы, и весь хрупкий карточный домик их жизни держался на проекте, против которого Восс кричал. Она промолчала, чтобы домик не рухнул. И вот его голос мычал ей в ухо из кармана дочери, и домик всё равно качался.

— Мам, — сказала Лейла. — У тебя руки холодные. Ты замёрзла или это другое?

— Замёрзла, — сказала Зара. — Там всегда холодно.

✱

Триумф был назначен на полдень и шёл по расписанию, как поезд.

Большой зал заполнили вдвое против вместимости. Камеры, флаги четырнадцати государств-участников, экраны, на которых пульсировала жёлто-белая отметка — энергия, текущая из ничего в сеть. Хана Рейес стояла на возвышении и держала в пальцах медаль запуска, поворачивая её, ловя ребром свет софитов. Говорить она ещё не начала, но зал уже стих: Рейес умела заставить тысячу человек ждать.

— Сегодня, — сказала она наконец, прикрыв глаза, как делала всегда, отдаваясь голосу, — человечество загло звезду в собственной ладони.

Зал выдохнул и зааплодировал. Зара стояла сбоку, у пульта, и не аплодировала. Рядом с ней Тео Адейеми тоже не хлопал — он смотрел не на Рейес, а на жёлтую отметку расхода, и губы его чуть шевелились. Он считал. Тео всегда считал; даже когда молчал, было слышно, как внутри щёлкает арифмометр.

— Двести лет, — продолжала Рейес, — мы жгли мёртвых: уголь, нефть, прошлое планеты. Мы делили скудеющий пирог и звали это политикой. Сегодня делёж кончен. Кран открыт навсегда. Я скажу то, за что меня будут цитировать или проклинать, — она улыбнулась, зная, что цитировать, — но я скажу: это непотопляемый «Титаник» нашего разума. На этом корабле тонуть нечему.

Аплодисменты встали стеной.

— Самонадеянно, — сказал Тео, не поворачиваясь к Заре, очень тихо, для неё одной. — Красиво и самонадеянно. Восса бы сейчас вышел и испортил всем праздник.

Имя упало между ними, как монета на пол.

— Восса здесь нет, — сказала Зара.

— Восса здесь нет, потому что он паникёр, — сказал кто-то из проектных, оборачиваясь, услышав. Молодой, румяный, из тех, кто пришёл на готовое. — Пугал нас, что вакуум, видите ли, «услышит». Дыру в пустоте, мол, кто-то заметит.

— Он фыркнул. — Хорошо, что вовремя ушёл, пока не стал посмешищем.

Несколько голов кивнули. Кто-то засмеялся.

Зара открыла рот. Она могла сказать: Восс не паникёр, Восс — лучший физик из всех, кого вы видели, и если он чего-то боится, бойтесь и вы. Могла сказать: я работала под его рукой десять лет, и он ни разу не ошибся в том, что считал важным. Могла сказать хотя бы: замолчите.

Она посмотрела на жёлтую отметку расхода. На ней, на этой отметке, держалось лечение Лейлы.

— Запуск идёт штатно, — сказала она и отвернулась к пульту.

Румяный удовлетворённо кивнул, будто она его поддержала. Тео скользнул по ней взглядом — внимательным, без осуждения, словно зафиксировал в уме ещё одну величину. Рейес на возвышении говорила о будущем без границ. Медаль ходила в её пальцах туда-сюда, ловя свет.

Зара прижала ладонью карман, где лежали материны чётки — гладкие, костяные, тёртые тремя поколениями женщин её рода. Она не молилась. Она просто держала их, чтобы рука перестала дрожать.



Финальное наращивание мощности назначили на вечер — час, когда над Атакамой опускалось небо такой чистоты, какой не было больше нигде на Земле. Ради этого неба обсерватории и забрались сюда; ради сухости и пустоты здесь

же поставили «Прометей». Зара любила думать, что это не случайно: реактор, ворующий у пустоты, под самым пустым небом мира.

Она снова была в кресле. Снова прижала два пальца к груди. Снова нырнула.

Поле приняло её, как принимает вода. Зара повела мощь вверх — медленно, ступенями, слушая, как простыня натягивается ту же. На третьей ступени зал в реальности взорвался беззвучным для неё ликованием: отметка расхода прыгнула, сеть приняла полный поток, четырнадцать флагов на экранах вспыхнули зелёным. Получилось. По-настоящему, навсегда — звезда в ладони.

Внутри поля Зара вела последнюю ступень и ждала привычного отклика — той ровной тишины, что значила «всё правильно».

Тишина пришла. Но она была не та.

Зара застыла. Гладкая, ровная тишина мембраны вдруг сделалась — другой. Будто простыня, по которой она привыкла водить ладонью в пустой комнате, перестала быть пустой. Будто за тканью, по ту сторону, что-то сместилось — не звук, не свет, ничего, что назвать, — просто ровность стала ровностью чего-то, что лежит и слушает. Внимание без лица. Тишина, которая обернулась.

— Зара? — донеслось из бесконечной дали. — Параметры в зелёном, ты чего застыла?

Она сглотнула металл во рту.

Это усталость, сказала она себе. Три часа под полем вчера, бессонная ночь, голос Восса в наушнике дочери. Воображение. Поле дышит ровно, параметры в зелёном, всё правильно.

Но руки на интерфейсе дрожали уже не от усталости, и где-то очень глубоко, ниже знания, ниже слов, Зара поняла то, в чём не призналась бы и под пыткой: она зажгла свет. И в темноте по ту сторону простыни этот свет — заметили.

— Всё штатно, — сказала она вслух. — Выводи на полку.

Она вынырнула в ликующий зал и впервые за одиннадцать лет испугалась тишины, которую так любила слушать.

Часть вторая. Ответ из тьмы

Сорок часов спустя тишина заговорила цифрами.

Зара пришла в зал в четыре утра, не сумев уснуть, и застала ночную смену в странном оцепенении. На главном экране ползли графики фонового градиента — рутина, которую обычно никто не смотрел, как не смотрят на барометр в ясный день. Сейчас на барометр смотрели все.

— Всплески, — сказал дежурный, уступая ей кресло наблюдателя. — Со вчерашнего вечера. Сначала думали — шум аппаратуры, перекалибровали трижды. Не шум.

Зара села и начала читать. Всплески были слабые — на пределе чувствительности, — но регулярные, и в их регулярности было что-то, от чего по затылку прошёл холод. Она запустила трассировку: откуда. Машина считала долго, мостя направление по фазовым сдвигам в мембране.

Ответ пришёл к рассвету.

Сигнатура вела не из Солнечной системы. Она вела наружу — далеко, в глубокий космос, и не в пустое место, а к точкам, которые Зара знала по астрофизическим сводкам. Мёртвые системы. Звёзды, которые по всем законам должны были жить ещё миллиарды лет, а вместо этого числились в каталогах как аномально остывшие, «преждевременно угасшие» — редкие уродцы, которые никто не умел объяснить. Трасса нанизывала их одну на другую, как бусины на нить,

и нить тянулась к Солнцу.

Зара сидела перед экраном, и кофе остывал в её руке, и курсор под пальцами дрожал.

Цепочка погасших звёзд. И на её конце — они.

— Позовите директора, — сказала она. Голос был ровным; ровность далась ей дорого. — И соедините меня по защищённой линии. Мне нужен один человек.

— Кто?

Зара назвала имя, которое семь месяцев не звучало в этих стенах.



Восс вошёл в зал через десять часов — прилетел первым же бортом, как был, в свитере и с дорожной сумкой, будто всё это время сидел на чемоданах и ждал звонка. Он постарел за полгода на несколько лет. Дрожь в руках усилилась; он держал кружку обеими ладонями, и кофе всё равно подрагивал.

Он не поздоровался с Зарой. Прошёл мимо, к экрану, и долго молча читал графики, изредка хмыкая себе под нос тот самый мотив — три ноты вверх, одна вниз. Зара стояла за его спиной и не знала, куда деть руки.

— Илай, — сказала она наконец. — Я должна была...

— Потом. — Он не обернулся. — Сначала важное. Потом второстепенное. — Он постучал пальцем по экрану, по нити погасших звёзд. — Ты понимаешь, что это?

— Я понимаю, что это идёт к нам. Я не понимаю, что это.

Восс выпрямился. И тут он обернулся — и Зара увидела в его лице не торжество, которого боялась, не «я же говорил», а что-то куда худшее: жалость. Жалость взрослого, который вынужден объяснить ребёнку, что собака сдохла навсегда.

— Я всегда говорил вам: вакуум — не бесплатная кладовая. — Голос был тихим, лекторским, и от этой лекторской тишины делалось страшнее, чем от крика. — Это натянутая простыня. Вы её проткнули, чтобы черпать из-под неё даровую силу, и ни один из вас не спросил себя: а что лежит по ту сторону ткани? Кто спит под простыней?

— Илай, говори прямо.

— Прямо. — Он усмехнулся, и усмешка была висельной. — Хорошо. Есть теорема, которую я считал двадцать лет и о которой молчал, потому что молчать было удобнее. Жизнь — это машина, понижающая беспорядок. Мы берём хаос и лепим из него порядок: клетку, лес, город, тебя. Четыре миллиарда лет Земля копила этот порядок, слой за слоем, — гигантский, плотный, редчайший во Вселенной градиент. Понимаешь? Большая часть космоса — ровный тёплый пепел, хаос без структуры. А наша биосфера — это омут порядка под зеркальной плёнкой. Глубокий, тихий. И невидимый — пока плёнка цела.

— А мы, — сказала Зара, и губы онемели, — мы плёнку проткнули.

— Вы подняли на ней рябь. — Восс посмотрел на неё почти ласково. — Сигнатуру. Маяк. И те, кто питается поряд-

ком, — те, для кого пепел пуст, а живой мир есть пир, — они спали в темноте миллиарды лет, потому что омут был гладок и они его не видели. А теперь по ткани пошла рябь, и они обернулись на свет. И впервые увидели, что под рябью.

Он замолчал. В зале было очень тихо — собрались уже многие, слушали, не понимая до конца, но чувствуя кожей.

— Как ты их назовёшь? — спросила Зара шёпотом.

— Никак я их не назову, — сказал Восс. — Имя — это попытка приручить. Их не приручить. — Он помолчал. — Но если тебе нужно слово, чтобы спать, зови их Жатвой. Они идут собирать урожай, который мы для них вырастили и на который сами же указали. — Он отвернулся к экрану, к нити погасших звёзд. — Мы зажгли в темноте фонарь и удивляемся, что на свет полетели не бабочки.



— При всём уважении, — сказала Рейес, — я не вынесу на Совет историю про космических людоедов, поедающих, простите, аккуратность.

Они стояли в её кабинете — Рейес за столом, Восс у окна, Зара между ними, Тео в углу с неизменным монитором витальных на запястье. Медаль запуска лежала перед Рейес на столе; она к ней не прикасалась.

— Не людоедов, — сказал Восс устало. — И не аккуратность. Негэнтропию. Низкую...

— Я слышала. — Рейес подняла ладонь. — Я слышала вас и три года назад, доктор Восс. Тогда вы пугали нас тем, что

прокол вакуума «кто-то заметит». Это звучало как мистика тогда, и это звучит как мистика сейчас, только теперь с графиками. А графики, — она посмотрела на Зару, — графики можно трактовать. Послесвечение запуска. Возмущение в новой технологии, которой мы пользуемся сорок часов. Артефакт.

— Сигнатура совпадает с погасшими системами, — сказала Зара. — С точностью, которую артефактом не объяснить.

— Или объяснить совпадением, корреляцией, ошибкой выборки. — Рейес встала, прошлась. — Поймите меня правильно. Через два дня я докладываю четырнадцати правительствам, что мы спасли цивилизацию. На этом докладе держится всё — финансирование, доверие, само существование проекта. — Взгляд её на миг метнулся к Заре, и Зара поняла: и медкрыло. И лечение. — И вы предлагаете мне выйти и сказать: извините, мы, кажется, привлекли внимание галактических хищников. Меня снимут к вечеру, а проект закроют.

— Возможно, проект и стоит закрыть, — сказал Восс.

— Поздно, — сказал вдруг Тео из угла.

Все обернулись. Тео не отрывался от своего монитора, но говорил он не о пульсе.

— Я слушал доктора Восса очень внимательно. — Он наконец поднял глаза, и в них не было ни страха, ни недоверия — только холодный, ровный интерес. — Если он прав — а я думаю, он прав, цифры красивые, — то выключать

поздно. Маяк уже зажжён. Свет уже увидели. Погасив лампу, увиденное не развидишь. — Он сделал паузу, и в паузе было слышно, как он считает. — Меня занимает другое. Если существуют создания, которые умеют питаться порядком, — значит, существует механизм. Способ извлекать структуру как ресурс. А всё, что один организм научился делать, — он чуть улыбнулся, — может научиться делать и другой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.